

**СООТНОШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И НОРМАТИВНОГО В  
МАЛЕНЬКОЙ ТРАГЕДИИ ПУШКИНА  
"СКУПОЙ РЫЦАРЬ"**

Ференц Богнар

(Bognár Ferenc, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék  
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Готовясь к очередному рыцарскому турниру и вспоминая свой последний поединок, Альберт – единственный из своего окружения – в смятении признается в том, что его статус рыцаря основывается не на каком-либо высоком идеале, а на простой, повседневной, по-человечески понятной, объяснимой его социальным положением, но все-таки неприемлемой скупости, благодаря которой он становится победителем и рыцарем.

"О, бедность, бедность!  
Как унижает сердце нам она!  
Когда Делорж копьем своим тяжелым  
Пробил мне шлем и мимо проскакал,  
А я с открытой головой пришпорил  
Эмира моего, помчался вихрем  
И бросил графа на двадцать шагов,  
Как маленького пажа; как все дамы  
Привстали с мест, когда сама Клотильда,  
Закрыв лицо, невольно закричала,  
И славили герольды мой удар:  
Тогда никто не думал о причине  
И храбрости моей и силы дивной!  
Взбесился я за поврежденный шлем;  
Геройству что виною было? – скупость..." (1, с. 287)

Альберт, требующий онтического обоснования своего существования и понимающий, как кажется, значимость норм бы-

тия, или по крайней мере уважающий их, по праву может считать комичным и возмутительным стремление *естественного* занять место этих норм и стать всеобъемлющим обоснованием для целого мира. Поэтому путь героя в произведении можно интерпретировать как попытку воспрепятствовать возведению естественного в норму.

Столкновение естественного и нормативного – явление типичное для Нового Времени; в этом столкновении выражается стремление партикулярного человека, гражданина стать представителем культуры. Суть этого стремления наиболее характерно выявлена в учении Руссо: это абсолютизация естественного, природного. Поскольку гражданин в нормах бытия видит нарушение личной свободы и ущемление индивидуальности, он выдвигает вместо них индивидуальный момент, и в то же время предлагает считать, что в основе нормативности лежит естественное, жизненное. Когда же он делает естественное и практическое мериллом всего, он упускает из виду, что его бытие, его человеческая сущность, его личная свобода имеют духовное происхождение и коренятся в традиции.

Уже в поэме "Цыганы" Пушкин ставит под вопрос саму оправданность замены традиции естественным, а в маленькой трагедии, параллельно с осознанием недолжности такой замены в его творчестве, следствием абсолютизации индивидуалистической точки зрения становится погружение человеческого бытия в практицизм и полное обесценивание духовной свободы. Пушкин возвышается над морализаторско-этической позицией, он дает больше, чем отвлеченную критику гражданской позиции как таковой; Пушкина волнует проблема изображения своей среды, русской культуры, его интересуют перспективы, открывающиеся для гражданина на российской земле, ведь поэт не может и не хочет повернуть колесо истории вспять.

Альберта волнует проблема возможности основания своего бытия на естественной человеческой страсти. Удастся ли ему избежать опасности потерять свою способность ставить вопросы бытия, можно ли смешать нормы бытия с практикой и остаться рыцарем, сможет ли он вернуться к духовным основам бытия, освободившись от скупости. Суть вопроса в том, насколько можно считать разумным с его стороны стремление освободиться от ску-

пости, ведь она, видимо, неотъемлемая часть его существования, уничтожение которой привело бы к разрушению его "самости". Сын, как и отец, не просто рыцарь, а как отмечено в названии трагедии, – "скупой рыцарь", однако, в то время как отец, отказавшись от жадности и скупости, смог бы воспроизвести в себе чистоту изначального статуса, основанного на высоком идеале, неотъемлемом от понятия "рыцарь", у Альберта такой возможности нет, потому что, тут мы можем только повториться, скупость – не просто черта его личности, а сама основа его бытия и его рыцарства. Изначально верное и заслуживающее уважения стремление Альберта воспрепятствовать превращению естественного в норму, бороться с тотальностью сниженного гражданского бытия, забывшего свою онтическую основу, – это стремление Альберта разбивается о тот кроющийся в его бытии факт, что он тоже продукт этого гражданского бытия, что в его существовании потенциально лежит возможность возведения естественного в норму. Альберт поступил бы правильно, если бы он не боролся, разрушая самого себя, против своих корней, а, понимая потрясающие глубины традиции как должного источника своих действий, постоянным раскаянием стремился бы к тому, чтобы эта возможность не реализовалась. Борьба Альберта против своего гражданского статуса ошибочна не только потому, что он не считается с его укорененностью в бытии, но и потому, что – хотя Альберт сам об этом не подозревает – он борется с позиции гражданина, находящегося в плену гражданского менталитета. Он не считается с границами своего существования, ведь он любой ценой хочет принять участие в рыцарском турнире ("Во что бы то ни стало, на турнире явлюсь я" – с этими словами появляется на сцене Альберт), а это означает, что сын, так же как и отец, не понимает открытости человека; проблема человеческой полноты для него исчерпывается и, по видимому, реализуется все и вся пронизывающим совершенством чувств и страстей. С другой стороны он видит обратную связь между своей бедностью и установкой на норму, т.е. основополагающее для бытия значение нормы он готов видеть и интерпретировать только в зависимости от своего материального положения.

"И платье нужно мне. В последний раз  
 Все рыцари сидели тут в атласе  
 Да бархате; я в латах был один  
 За герцогским столом. Отговорился  
 Я тем, что на турнир попал случайно.  
 А нынче что скажу? О, бедность, бедность!  
 Как унижает сердце нам она!" (1, с. 287)

Онтический дух произведения Пушкина, конечно, рассеивает эту иллюзию героя.

О том, что Альберт хотел бы стоять на позиции нормы, свидетельствует нам его возмущенный отказ от предложения Жида (являющегося представителем практического интереса) о наемном убийстве отца.

"Как! Отравить отца! и смел ты сыну...  
 Иван! держи его. И смел ты мне!..  
 Да знаешь ли, жидовская душа,  
 Собака, змей! что я тебя сейчас же  
 На воротах повешу" (1, с. 293).

В этом случае в мышлении Альберта, по-видимому, реализовалось представление о моральном устройении мира, где порядок естества и практики верно следуют миру норм, где за добро воздают добром, а за зло – злом, еще в мире сем, ведь почитание отца сыном делает последнего долгожителем на этой земле. Но в то время как в древнееврейском понимании в симбиозе нормы и практики приоритет всегда имеет норма, у Альберта почти незаметно, но и нескрываемо положение кардинально меняется: жизнь для него – это не зеркало мира норм, она должна протекать у него по законам естества. Альберт возмущается тем, что он может умереть раньше своего отца, ведь обычно прежде хоронят стариков:

"Ужель отец меня переживет?" (1, с. 290)

На удивленный вопрос сына Жид с полным безразличием к

взаимоотношениям природы и жизни, подчеркивая самостояние жизни и ее независимость от индивидуального поведения, отвечает:

"Как знать? дни наши сочтены не нами;  
 Цвел юноша вчера, а нынче умер,  
 И вот его четыре старика  
 Несут на сгорбленных плечах в могилу.  
 Барон здоров. Бог даст – лет десять, двадцать  
 И двадцать пять и тридцать проживет он" (1, с. 290).

Альберт на том же основании, по причине естественного для молодых жизнелюбия считает нужным как можно скорее получить наследство, почти с той же горячностью, что и отец, защищая необходимость реализации естественного:

"Ты врешь, еврей: да через тридцать лет  
 Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги  
 На что мне пригодятся?" (1, с. 290)

Речь идет о том, что несмотря на намерения Альберта обеспечить приоритет нормы, на деле он не способен стать выше своего отца, который приравнивает человеческое существование к практике; в мировоззрении Альберта нормы теряют основополагающее значение и онтический статус. Об этом свидетельствует идеологичность и идеалистичность его мышления, его ожидания осуществления норм на практике, когда он говорит об объективности своего "честного слова":

"Ты требуешь заклада? что за вздор!  
 Что дам тебе в заклад? свинную кожу?  
 Когда б я мог что заложить, давно  
 Уж продал бы. Иль рыцарского слова  
 Тебе, собака, мало?" (1, с. 289-290)

Еврей ростовщик Соломон, лучше знающий жизнь, абсолю-

тизирующий практику и придерживающийся ее законов, напоминает Альберту, что времена изменились, что объективно действующая сила идеалов иссякла, и хотя субъективные гарантии достойны уважения, все же выдвигать их на первый план нельзя. Он напоминает ему также об абсурдности мысли о якобы основополагающей роли индивидуальности.

"Ваше слово,  
Пока вы живы, много, много значит.  
Все сундуки фламандских богачей  
Как талисман оно вам отопрет.  
Но если вы его передадите  
Мне, бедному еврею, а меж тем  
Умрете (боже сохрани), тогда  
В моих руках оно подобно будет  
Ключу от брошенной шкатулки в море" (1, с. 290).

Альберт настаивает на удовлетворении своих естественных потребностей, скрывая их под облачением нормы. Поэтому он обращается к герцогу с просьбой, чтобы тот своим влиятельным словом заставил отца изменить свою позицию, чтобы герцог освободил его, как ему думается, от зараженности гражданственностью. На самом же деле (но Альберт не способен этого заметить) воздействие властного авторитета сделало бы необратимым его становление гражданином и его полное заключение в имманентном бытии:

"Проклятое житье!  
Нет, решено – пойду искать управы.  
У герцога: пускай отца заставят  
Меня держать как сына, не как мышь,  
Рожденную в подполье" (1, с. 294).

Выясняется, что и отец Альберта не всегда стоял на гражданской позиции – это открывается во дворце герцога, – некогда он тоже был победителем рыцарских турниров, желанным гостем

во дворце, другом государя, аристократом. В его личности мы должны видеть активное осуществление индивидуального идеала путем совершенствования разумно-волевых сил индивидуума. Абсолютизация индивидуального принципа означает исключение из мышления традиции, ведь старому барону кажется, что он на практике видит обоснованность и доказанность правоты своих представлений, а пренебрежение границами человеческого бытия, из-за его имманентности, может получить только демонический характер.

"Читал я где-то,  
 Что царь однажды воинам своим  
 Велел снести земли по горсти в кучу,  
 И гордый холм возвысился – и царь  
 Мог с вышины с весельем озирать  
 И дол, покрытый белыми шатрами,  
 И море, где бежали корабли.  
 Так я, по горсти бедной принося  
 Привычну дань мою сюда в подвал,  
 Вознес мой холм – и с высоты его  
 Могу взирать на все, что мне подвластно.  
 Что не подвластно мне? как некий демон  
 Отселе править миром я могу..." (1, с. 295)

Считая естественным созданный своими усилиями мир и порядок, барон видит проблематичность индивидуального принципа не в погоне за деньгами, не в бесчеловечности и жестокости жизни (вспомним, с каким безразличием он смотрел на страдания вдовы и на потоки крови и слез, омочившие его сокровища), ведь замкнутый в себе и довольный собой мир лишен всяких моральных принципов ("Что не подвластно мне", – констатирует безграничность своей власти барон). Точнее, упраздняя независимость и объективное действительное бытие морального принципа, гражданин именно этой, потерявшей онтический статус моралью, хочет оправдать свое потерявшее измерения существование и преувеличить свою роль. Поэтому нельзя принять самооправдание барона, когда он

хочет возвести свои законы в ранг нормы и сделать их всеобщими:

"Иль скажет сын,  
 Что сердце у меня обросло мохом,  
 Что я не знал желаний, что меня  
 И совесть никогда не грызла, совесть  
 Костливый зверь, скребущий сердце, совесть,  
 Незванный гость, докучный собеседник,  
 Заимодавец грубый, эта ведьма,  
 От коей меркнет месяц и могилы  
 Смущаются и мертвых высылают?..  
 Нет, выстрадай сперва себе богатство,  
 А там посмотрим, станет ли несчастный  
 То расточать, что с кровью приобрел" (1, с. 297–298).

Испытать противостояние природы и нормы и независимость их друг от друга дается барону тогда (это мотивировано его происхождением), когда он наталкивается на непонятную и необъяснимую с точки зрения гражданской трезвости и предвидимости стену порядка унаследования:

"Я царствую!.. Какой волшебный блеск!  
 Послушна мне, сильна моя держава;  
 В ней счастье, в ней честь моя и слава!  
 Я царствую... но кто вослед за мной  
 Примет власть над нею? Мой наследник!  
 Безумец, расточитель молодой,  
 Развратников разгульных собеседник!  
 Едва умру, он, он! сойдет сюда  
 Под эти мирные, немые своды  
 С толпой ласкателей, придворных жадных.  
 Украв ключи у трупа моего,  
 Он сундуки со смехом отопрет,  
 И потекут сокровища мои  
 В атласные дырявые карманы.  
 Он разобьет священные сосуды,

Он грязь елеем царским напоит –  
Он расточит... А по какому праву?" (1, с. 297)

Барон, который снижает совесть до уровня индивидуального психологизма и тем самым освобождает себя от чувства вины и ответственности, не выходит за рамки констатации бессмысленности доставшегося ему порядка унаследования, несправедливости этого порядка с его субъективной точки зрения. С намерением изменить закон, установленный Богом, заново создать мировой порядок и установить тотальность гражданина выходит на сцену герой следующей трагедии – Сальери, тогда как для старого барона это остается лишь подспудным желанием, неисполнимость которого он сам чувствует:

"О если б мог от взоров недостойных  
Я скрыть подвал! о, если б из могилы  
Прийти я мог, сторожевою тенью  
Сидеть на сундуке и от живых  
Сокровища мои хранить, как ныне!.." (1, с. 298)

Герцог – это тот герой трагедии, который не затронут конфликтом естественного и нормы, как мы видели направленного в сыне Альберте под знаком нормы на упразднение естественно-человеческого; в отце же этот конфликт в интересах господства естественного стремится к упразднению действительного бытия нормы (порядок унаследования). Надо отметить, что у отца и сына есть и общая черта: в конечном счете они оба граждане, и хотя один из них желает, чтобы везде действовал моральный закон, а другой обожествляет практику и хочет любой ценой доказать правоту такого взгляда, хочет сделать его всеобщим, ни тот, ни другой ничего не знают о трансцендентном бытии, которое находится в парадоксальной связи с бытием посюсторонним.

Чистота герцога, его глубокое уважение нормативного не лишают его способности трезво мыслить обо всем, не делают его идеалистом; нарисованный Пушкиным образ не отвлеченный идеал, поэт не ставит под вопрос жизненность его человеческого

существа. Ведь к герцогу с полным доверием может обратиться за разрешением своих проблем Альберт, но и у барона он пользуется авторитетом, у того барона, который некогда носил его на руках. Помогая Альберту выбраться из болота гражданского бытия, понимая его страдания, он всегда остается верным норме. Он знает, что только крайняя необходимость может заставить сына пренебречь отцовским авторитетом, ведь не так уж много настолько испорченных людей, которые без оснований решились бы сделать это. При его дворе, под влиянием его притягательной личности разоблачаются человеческие заблуждения: раскрывается в своей полноте бесчеловечность и самообман действий Альберта, его духовное падение, проявившееся в том, что он поднял перчатку, принял вызов отца; и здесь же раскрывается перед нами вся бессмысленность жизни отца, которая заканчивается ложью. Герцог, увидевший воочию всю грязь гражданского бытия, скрывавшуюся под личиной добропорядочности, может только возмутиться, видя мир, лишенный даже зачатков нормативного:

"Что видел я? что было предо мною?  
Сын принял вызов старого отца!  
В какие дни надел я на себя  
Цепь герцогов! молчите: ты, безумец,  
И ты, тигренок! полно. (*Сыну.*) Бросьте это;  
Отдайте мне перчатку эту (*отымает ее*)" (1, с. 304).

Но действия его однозначны и решительны. Альберт должен покинуть двор герцога, а отца он стыдит за его поступок. В то же время это решение никого не унижает и не нарушает порядок бытия: у только что изгнанного и, вопреки его намерениям потерявшего онтические основы своего бытия Альберта остается возможность возвращения ко двору, а умирающему отцу, который находится в безнадежном положении и погряз в гражданском бытии, предлагается аристократическое поведение, т. е. выход, требующий личных усилий, принятие на себя позора.

"... Изверг!

Подите: на глаза мои не смейте  
Являются до тех пор, пока я сам  
Не призову вас. (*Альберт выходит.*)  
Вы старик несчастный,  
Не стыдно ль вам..." (1, с. 304).

Конечно, предсмертные слова отца свидетельствуют о том, что он не исполнит и не способен исполнить это требование. Герой, который ощутил в себе онтические основы человеческого бытия, который может обеспечить гармоническое сосуществование естественного и нормы, в котором нет внутреннего конфликта между ними, изображается в истории культуры только в исключительные моменты. Наряду с Татьяной герцог является одним из таких типов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 5, Л., 1978.